

1920 ГОД Из дневника

Вадим Константинович Паустовский, сын писателя, в пояснениях к публикации дневников отца довольно подробно рассказал о характере и стиле этих записей. Их телеграфная манера и отсутствие систематичности позволили ему говорить о дневниках как о рабочих "вехах для собственной памяти", по которым только автор мог бы восстановить всю цепь изложенных событий.

И все же случались периоды в жизни писателя, когда записи велись довольно подробно. Недавно в редакции оказались 27 "одесских" листков 1920 года, считавшиеся ранее утерянными.

С любезного согласия их обладателя, Дмитрия Алексеевича Лосева, журналиста и издателя из Феодосии, предлагаем их вниманию читателей. О причинах обережения этих страниц на протяжении многих десятилетий исследователям остается делать свои предположения и догадки.

Орфография и пунктуация приведены в соответствие с нормами русского современного языка.

Такого глухого, чугунного времени еще не знала Россия. Словно земля почернела от корки запекшейся крови. Ухмыляющийся зев великого хама.

В Петербурге — городе мертвых — прекращается деторождение. Мужчины импотентны. За шесть дней он не видал ни одной улыбки, не слышал смеха или окрика извозчика. Любви нет. Разница между полами стерта голодом, грязью, невыносимой тяготой жизни.

Нет того, что раньше называлось флиртом. Резиновая скука. Жизнь — в этой скуке, серой, пахнущей аммиаком из отхожих мест, — тянется, как высохшая резина, пока не разорвется.

Нет пола. Есть голодное существо, одетое в рваную шубу, с потухшими глазами. Почти все не моются по два месяца — в квартирах замерзает вода — разве здесь можно говорить о любви? Женственность — признак жизни живой, свободной и богатой, усохла, как усыхает река. Женщины внушают только отвращение грязью, затасканными подолами, слезящимися глазами, точно так же, как и обросшие, несвежие мужчины.



**Усиление военной интервенции Антанты
Увод интервентами захваченных судов из одесского порта. 1919 г.**

Боже, до чего ты довел Россию. Хочется молиться в теплых блестящих матовым золотом полутемных соборах. Молиться и знать, что за папертью идут в голубых огнях и снегу тихие площади Кремля, живет быт, пушистые снежинки падают на бархатную девичью шубку. Молиться. В последних истоках мутного света сослепу тычется, ища черствую корку, громадный умирающий народ. Чувство головокружения и тошноты стало всенародным. И больше умирают от этой душевной тошноты, тоски и одиночества, чем от голода и сыпняка.

Сегодня утром за маленьким окном едва светало. Вспомнил стихи, Москву, детство. Лежа на рассвете в теплой постели, в рождественские синие рассветы, так похожие на сумерки, хорошо было слушать треск дров в печке, звон чашек в столовой, смотреть на запушенные деревья в уютном саду, на красные блики огня на натертом паркете, вдыхать запах елки и ни о чем не думать.

Каждый день учеты, регистрации, допросы, реорганизации, сокращения штатов, слияния, аресты, боевые приказы, картавые мальчишки с револьверами на задку, дурацкая суета и отупелое ничегонеделанье — так жи-

вут советские учреждения. Крепостные. Хуже крепостных — "сволочь", скоты, которых дерут плетью ежечасно. Больно дерут по лицу. И за дрожью от холода, от обиды, от смутной боли — жалкое сознание, что там где-то "хвост" — очередь, и в этой очереди дают раз в три дня кислый ячменный хлеб, от которого пучит живот. Во имя этого терпят. А среди них есть интеллигентные люди.

Я совершенно не создан для службы, для канцелярщины, для сиденья за столом. Я болен. Тоска стала непрерывной, замкнутым в себе кругом (я не могу теперь, не сдерживая слез, слышать плач детей), она наполнила все мои дни до краев, и я не знаю ни сил, ни возможности разорвать ее, засмеяться, почувствовать, что ведь я еще молод, что мне всего только 28 лет, что я хотел жить иначе.

Книги лежат начатые, но писать дальше не могу. Отморожены, должно быть, мозги, и отморожены руки. Пальцы опухли, в язвах, и умыванье вызывает слезы.

У батюшки умер сын. Ребенок был слаб. Дети рождаются хилые, с дурными соками, у матерей нет молока. Вечером он служил панихиду у гробика в цветах. Цветы (астры) принес Крол. Горела копилка. За окнами дул сырой норд-ост и стояла черная злая ночь... "В месте светле, в месте покойне, иде же несть ни болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная". Великая жажда у всех к этим местам, где нет воздыхания. У меня, у немногих есть свои "дети", — то, что мы отдаем будущему, свою душу в этих разорванных листках и книгах, то, что мы расплещем из себя, как пену из стакана с вином. У многих этого нет, нет своей доли в бесконечности жизни, круге детей.

В нашем положении — выгоднее всего — это ждать смерти.

Вспомнил похороны Гартенштейна. Он был еврей. Что-то бормотал над ним рыжий синагогальный служка в пыльном цилиндре. На кладбище около гроба подрались канторы. Один из них взял верх и надрывно, отчаянно запел отходную. "Ой, лейбе, ицко, лейбе!" Было невыносимо тяжело. Весь обряд погребения, от обмывания и выдавливания экскрементов, до савана, из которого торчат мертвые ноги в носках, и носилок для тела со следами каких-то высохших соков — безобразен. Я нес эти носилки. Старик умер от тоски — пять дней ничего не ел.

Мы дожили до самого страшного времени, когда правы все идиоты.

Третья революция, которая близка, будет самой кровавой. Будут убивать на улицах, как зверей. Ибо давление ненависти и тяжесть терпения перейдут предел и разразятся внезапным и ошеломляющим взрывом.

Жалость... будет достаточным поводом для смерти. Жизнь народа не терпит пустоты, а теперь эта бесплодная пустота (скопческая в отношении духа, творчества) наступила. Нет никаких надежд. У безнадежного один исход — расплата с теми, кто загнал его издыхать во вшивую нору. Издыхать одного, ибо давно уже умерли маленькие дети и слабая жена, и чувство человеческого, и любовь, и вера в какой-то смысл своего земного существования.

На угрозу "поставить к стенке" он ответил: "Я 24 часа в сутки стою у стенки, — стою у стенки за фунтом хлеба, у стенки за советским пойлом, у стенки за восьмушкой сахара и за поленом, стою у стенки голодной смерти и, если вы поставите меня к последней стенке, — я буду только благодарен".

Расстрел, "размен", "ставка Духонина" совершается над каждым из нас 24 часа в сутки, непрерывно. А смерть — это только "последняя" стенка, цементная стена гаража и грохот автомобильного мотора (их заводят, чтобы не было слышно выстрелов), после которого останутся только клочья воспаленных мозгов и лужица крови. Товарищи-операторы (раньше — "палачи") разденут труп, и родные увидят на улице на одном из них знакомые вещи и только по этому узнают о смерти близкого. Узнают еще и по тому, что после смерти приходят к родным и забирают вещи убитого. Так было с братом Ириши.

2 декабря. Первый снег. Пушистый. Какой красивое слово "снег", "снежный". Если бы был художником, написал бы картину "Снега". Снега на закате, розовеющие, как в полях... "Страна, которая молчит, вся в белом, белом...". От вечернего снега в тихие залы деревенских домов ложатся бледные отсветы. А в Москве — балы. Вспомнил Зайцева. Море — в снежном тумане. (Мост на Греческой.)

Рисую план Парижа. Меня волнуют даже названия улиц. Есть три важных города, где я хотел бы жить, Москва, Париж и Рим.



Французский патруль на улицах Одессы

В Москве — потому что там есть Гранатный переулок и "в ноябре на Тверской лежит снег", потому что там прекрасные русские девушки, милый ласковый быт и белые соборы в Кремле. "Дальний край" Бориса Зайцева¹.

Париж — за блестящее очарование его бульваров, как запах меха, только что сброшенного женщиной, за *cafe* и газовые рожки и Верлена, за *Notre-Dame* и Гюго, и сады Версаля в дождях, с желтыми отблесками ноябрьского заката в окнах дворца.

Рим — за кислотоватое вино и остерии, за то, что Рим — город печальных любовников и художников в потертых пиджаках, за мрамор, увитый плющом Муратова, и солнце в узеньких улочках.

3/XII. Утром рыжий парк весь в солнце, белым пятном сверкает маяк, заголубело море. К вечеру закат ослепительно горел в окнах обсерватории жидким золотом, и над бухтой нависла розовая морская мгла. Болит голова и трудно о чем-нибудь думать. Устал от тасканья по базару, где все про-

¹ Имеется в виду роман, написанный в 1913 г.

дают и никто не покупает. На возах сидят, расставив ноги, толстые бабы с лицами чудовищ. Около каждой — десятки женщин с измученными глазами, мужчин в пенсне, студентов... и все, как нищие, протягивают руки с бельем, ботинками, мехами. Какая-то всероссийская распродажа интеллигенции. Но на все — один ухмыляющийся самодовольный ответ: "не треба". И острая, злая радость в глазах, что можно унизить "панов". А "паньы", может быть, уже двое суток ничего не ели.

Острое, почти болезненное желанье сладкого чаю и легких, красивых журналов. Весь день бы просидел за номерами "Столицы и усадьбы", "Искры", "Солнца России", вглядываясь в рисунки, радуясь каждой букве, как запойный пьяница.

4/XII. На рассвете Крол рассказывал мне о своем детстве. Какой это был милый и цветистый быт. Красное платьице. Все зимние дни — на деревенской улице с Лелей на салазках и ледянках. Далекие поездки на лошадях по родственникам в престольные праздники. Колокольные звоны. Снега, солнце и пыльное лето во ржах. Введение — преддверье Рождества. Домовитость, уют, мамыны заботы, теплые лежанки. Гаврила Петрович — псаломщик — венчал ее кукол. Ей надо, хотя бы раз в год, побывать около рязанских березок, около Оки в лапотной, родной и древней (седенькой) России. А я завез ее сюда, на юг, в бездушный и тяжелый город, где даже раз в год нельзя услышать чистый, русский, поющий язык, ее рязанский говор.

"Я пришла к тебе от быта".

Быт и Кустодиев. На полотнах его много пряников (красных и зеленых лошадок), игрушек, базарной пестроты, овчин и мохнатых лошадеенок. Там на Успенье уже краснеется калина, вода в речушках студеная и чистая, играют пескари, и золотые листья, как уборы с икон, опадают с березовых лесов на увалах, и такая нерушимая, церковная, золотая тишина над землей. Это родное. А здешнее, "украинское", все эти "перукарни"¹, "харчкомы", атаманы, Черные Ангелы и Тютюнники, размокшие степи и наглые мужики — лукавое, тяжкое, недоброе, замкнутое — так органически, до отвращения чуждо, хотя мой отец малоросс. Я родился в Москве, крестили меня в Георгиевской церкви (что на Воспо-

¹ Парикмахерские (укр.).

лье¹⁾), и Москва преобразила мою хохлацкую кровь, дала ей древность и крепкую свежесть русской земли.

Бог прислал меня на землю с даром красок. Поэтому — я художник. Я остро чувствую краски и настроения дней, хотя близорук. И в людях я чувствую краски их души. Пишу, и слова ложатся мазками, как краска на холст, и вся моя мысль — в этих тонах, то блеклых, то густо-алых, но больше всего золотых, золотеющих, насыщенных внутренней теплотой. Мысль, философствование, как игра идей, как шахматы, как комбинации вдумываний, из которых рождаются гениальные прозрения, — мне чужды. Я мыслю сердцем. Может быть, потому так быстро сгорает жизнь. Хорошо погрузиться в воспоминания, думы, образы, как в теплый сон, безвольно, без притягивания своей мысли веревкой (дисциплиной дня) все на ту же дорогу. Поэтому я вряд ли создам что-нибудь дельное. Но я могу написать несколько прекрасных строк о свете лампадок и вечером чае в теплой, уютной столовой, о морском утре, словно закутанном в голубой шелк, переливающий солнцем, и о покрытых жемчужной пылью кулис картинах Дегаза.

Я вдруг почувствовал, что впереди меня ждет небывалое еще счастье. Был сырой день, я шел парком, с зеленого взволнованного моря дул сырой ветер. Такое чувство бывает у меня редко и никогда не обманывает.

Первый раз было в Ревнах, в лесу, в июльский день, когда наливались ржи. 14 год. И действительно пришло счастье бродяжничества, великой любви и моря.

Второй раз — вот теперь.

Кролу к именинам подарили белые хризантемы. Зимние, с хлопьями усталых лепестков. Они особенно красивы в холодных комнатах, когда на стеклах узоры от мороза. Горький запах очень печален. Почему-то вспоминаются снежные глубокие дни в Москве и голос Бумы.

Когда кончилась гражданская война и началось "мирное строительство" ("фронт труда") — все сразу увидели, что "король голый" и вся сила его только в войне, в разрушительной энергии злобы, в ужасе, в махнов-

¹ Церковь Св. Георгия на Всполье была заложена в 1779 г., располагалась на ул. М. Никитской, снесена в 1932-33 гг. На ее месте многоэтажное здание, которое в советские времена занимал Центральный дом радиовещания и звукозаписи.

цах, одетых в колпаки из старых красных и зеленых портьер. Чтобы создать — нужна свободная душа и детские пальцы, а не прокисший ум, изъеденный, как молью, партийной программой и трехлетним озлоблением. Они искалеченные, но не огнем, а тлением, распадом, неудачливостью. Вся страна превращена в аракеевские поселения.

Началась новая эпоха — прикармливание интеллигенции, профессоров, художников, литераторов. На горьком хлебе, напитанном кровью, должно быть, они создадут какой-то нудный лепет — "великое искусство пролетариата, классовой ненависти". Должны создать. Положение к тому обязывает. Чека им крикнуло "пиль", и они покорно пошли, поджав облезлый от голода хвост. Голгофа. Предсмертная пена на губах такого тонкого, сверкавшего, заморожившего все души искусства. Кто из них потом повесится, как Иуда на высохшей осине? Кто однажды продал душу? Господи, да минет меня чаша сия.

Не может быть, чтобы они не знали, что в Чека перед расстрелом смертникам, раздетым донага, пускают в спину струю ледяной воды из шланга и потом стреляют, — чтобы меньше было крови. Все же жизнь прогрессирует. Из недр Чека исходит этот прогресс, ибо техника убийства там разработана в недостижимом совершенстве. Никто не проклянет тех, кто пошел "чесать пятки Луначарскому". Тех, кто мог бы проклясть <нрзб> и завистливо смотрят, как "те" тащат два фунта ячной крупы с мышиным пометом — академический паек.

Самое ненормальное и чудовищное явление в жизни — физический труд. Он мельчит душу и родит тусклое, непрерывное озлобление. "Кто не трудится — тот не ест" — детская галиматья, недомыслие. Слово для того человек пришел в жизнь с изощренным богатством своего ума и чувств, чтобы всю жизнь кряхтеть и сверлить сталь на заводе, потом напиться и спать, как животные.

Почти никто не знает, что человек (не изломанный) призван к тому, чтобы "ничего не делать", но создавать. Из великой лени созданы узоры уальдовского письма, "Евгений Онегин" и стихи пьяницы Верлена. И весь производственный труд всех социалистических, советских, федеративных и красных республик не стоит одной его строчки "Les sanglots longs des violons de l'automne". Наши деды умели только лежать на диванах в зимние оранжевые дни и слушать треск дров в старинных (синих) гол-

ландских печач — и они создали дворянские гнезда и домовые церкви, залитые блеском свечей, и покрытые снегами набережные Невы в фонарях, и балы, и Пушкина, и Грибоедова, и Бунина, создали Толстого (не религиозно-философствующего, а Толстого "Войны и мира") и, наконец, печальника русской осени, русского флорентийца Бориса Зайцева. Они создали редкий фарфор и гобелены, и клавишины красного дерева. И прабабушки прозрачными пальцами играли на них Моцарта, композитора старой изысканной Вены. А тот, кто "трудится и ест", создали Чека, советское пойло, советских скотов (всю Россию), тоску, грязь, плакаты и сотни жеваных "правд" и "известий".

Какая тонкость вкуса. Китайцы стараются окрашивать фарфоровые чашки в такие краски, которые гармонировали бы с цветом чая. Голубой цвет. Он создаст с коричнево-золотым чаем зеленоватые, теплые отсветы. В этом — прелесть быта, ежедневного уклада. На красивые вещи нельзя смотреть в музеях, как на редкость, открыв от изумления рот. С ними надо жить, каждый день едва скользить по ним взглядом, но потом это уж не вытравишь из души. Незаметно душа нарастает. Я замечаю это по той себрюжно-зеленой парче — бывшему антими́нсу¹, что висит над диваном.

Коммунизм, интернационал рождены еврейством, это — органическое, как у нас, русских, — дряблость и неуклюжесть. По существу, еврей, ненавидящий большевиков, более большевичен, чем русский красноармеец.

Медведев долго рассказывал о том, как выкладывали мозаикой его панно для дворца одного из петроградских князей. Медленная и красивая работа. Какое богатство ума было вложено в технику этих вещей. Говорили о реставрации старых картин, о подмосковной усадьбе кн. Щербатова с трельяжами, елисаветинскими залами и отблесками снега на стенах, куда он ездил в "теплом" автомобиле. Мы слушали как сказку. В грязной комнате было ниже нуля. Замерзло чернило. У него — черные, изъеденные язвами руки — от копоты и оттого, что чистит картошку. Сквозь дыру в ботинке выглядывал белый носок.

Первый и безошибочный признак пошлости — холеные усы. Слегка подвинченные. Приказчичы. Как у Головчинера.

¹ Антиминс — греч. местопрестольник, освященный плат с изображением положения во гроб Иисуса Христа; кладется на престол церковный при совершении св. евхаристии.

Опять в снега, как в ризы голубые,
Закутана вечерняя страна.
В пустых соборах служат литургии,
И грусть моя по-зимнему ясна
В седых садах, где в небе бродит звезды,
В золотизне рождественских ветвей,
В седых садах, где месяц всходит поздно,
Над белизной березовых аллей.
А в городке горят в домах лампы
И отблеск их ложится на паркет.
В Москве балы и пышные парады
И на Тверской вечерний мягкий свет
В Москве мороз горит в дыму кострами
И в Зубове, в твоём особняке.
Я слышу смех и вздох о "нежной даме",
Мои стихи в задумчивой руке.
Мне грезится блистательный Растрелли,
Его рука чертила белый зал,
Где столько лет потом в ночах звенели
Моцарта сны под русский клавесин.
Опять снега закутали как пледом
Весь городок, и только сторожа
Стучат в ночах. За ними ходит следом
Глухой рассвет, синяя и дрожа.

16/ХІІ. На днях был странный сон. Снова я в старом помещицком доме с низкими потолками, теплом и уютном. Из светлых сеней, где стояли еще с зимы в зимних кадках рододендроны и пальмы, я вышел на крыльцо. Был март. Вокруг дома стоял сосновый лес, снег лежал весь в синих лужах. Чудесный талый воздух. Около крыльца пилили сосну, и ее смолистый запах, снега, теплые предвечерние отсветы в окнах дома — все это было до того родное, русское, далекое от "интернационализма", что я заплакал во сне от детской, беспомощной тоски. Проснулся в слезах.

Замерзло море, и стали холода. Тянет над садами ледяным и соленым воздухом. Над белым платом льда — сизое северное небо. Рано зажигают огни. Перелом зимы.

Часто приходит ко мне желание писать — писать дни и ночи напролет, лишь изредка отрываясь и глядя в туманный зимний сад или спускаясь к черно-зеленому, покрытому льдами у берега морю. И думать о тех, кто прочтет эти строки, написанные мной. О далеких друзьях в Москве, в России. Но это желание вянет, комкается в жизни от ежедневного хождения в какой-то дурацкий Окружкомгуб, от усталости, холода, таскания обедов и тысячи мелочей. А жизнь уходит. Ленивый раб, зарывший талант свой в землю.

Святки, Рождество и Пасха — самые душистые праздники в жизни.

Утром выпал легкий, едва тронувший бурую землю снег. Парк, словно старинный зал в серых, но светящихся серебряных отсветах. Глубокая, поразившая меня тишина стояла над садами и морем. Только по усадьбам глухо кричали петухи. Цвет неба — словно цвет крыльев синевато-серебряной моли. И такая тишина стояла кругом, что, кажется, можно было зажечь под этим низким небом, в ясности этого святочного утра маленькую елку, и ее золотые огни не погасли бы и горели недвижно и ярко, как на алтаре. Молитвенная, церковная красота, не создавшая еще своих художников, своих поэтов.

Теперь впервые я все чаще и чаще встречаю на улицах умирающих людей. Выпитые глаза, трупный цвет рук и лица, трясущаяся голова, забитая, неизлечимая тоска в глазах. Тоска неизбежного смрадного и потому бесконечно горького конца. И за этой тоской — какие-то серенькие огоньки — память о прошлом, о милых святках и светлых, теплых комнатах, о друзьях и родных, которые теперь досадливо отмахиваются.

Послесловие

Эти страницы были написаны на юге великой державы, в одном из блистательных городов ушедшей империи. Страна, израненная междоусобицей и потерявшая привычный уклад мирной жизни, начинала являть иные законы бытия. Страшные эпизоды, свидетелем которых был Константин Паустовский, складываются в картину, полную безысходности.

Но уже через несколько месяцев наступят еще более страшные времена. Красное колесо прокатится по всей стране, и его глубокие борозды особенно кровавыми будут на

юге. Сотни тысяч человек будут расстреляны, уничтожены – без суда и следствия. Бухты Севастополя, старинные генуэзские стены Феодосии, южнобережные леса Ялты, тихие улочки Одессы станут свидетелями зверств и насилия над теми, кто не устраивал новую власть.

Но это еще впереди. А пока 28-летний поэт и журналист свои сокровенные мысли доверяет дневнику...

Сколько бумаг жестоких тех лет безвозвратно утрачено! А вот эта небольшая стопка листов с дневниковыми записями Константина Георгиевича волею судеб сохранилась. Но дожив до наших дней, уникальный документ эпохи мог быть утрачен. Если бы не воля случая.

...Летом 1998 года мой приятель Игорь Ильницкий, крымчанин, осевший не так давно в Москве, оказался в палисадничке на Большой Дмитровке. Зашел сюда пиво попить с другом. Неожиданно в скверик пожаловали и бродяги, проще сказать, бомжи, с коробкой старых бумаг. И сразу к себе привлекли внимание. Роясь в куче листов, писем, газетных вырезок, они натыкались на старые открытки и с интересом читали: "Коктебель, Одесса, Севастополь, Паустовский..." Ну как остаться равнодушным и безучастливо на это смотреть?! "Откуда это у вас, мужики?" – "А тебе какое дело?" – "Да так... Заинтересовало". – "Ну и купи!" – и назвали немалую сумму.

Игорь повертел в руках несколько листов, открыток. И сообразил: "Это бумаги из архива Паустовского. Если не забрать, ведь выбросят, и окажется все в мусорном контейнере". Но виду не подал и продолжил разговор: "Наивные... Кто у вас это купит за такие деньжищи! Потолкайтесь по антикварным магазинам и поймете, что никому это не нужно. А я бы вот купил открытки с видами Крыма...". "Ну, бери тогда все..."

Сделка обошлась Игорю в пятьсот рублей, что соответствовало примерно восьмидесяти долларам. Неожиданно разбогатевшие пилигримы московских улиц, пробормотав, мол, "еще принесем старье", скрылись так же стремительно, как и появились. Около часа Игорь поджидал новоявленных антикваров, однако второго явления не последовало...

Дома, разбирая бумаги, он убедился: они действительно из архива выдающегося русского писателя. Много детских посланий сына, письма и автографы Паустовского, дневниковые листы, письма и диплом жены Екатерины Степановны, черновики ее доноса середины 30-х годов на Константина Георгиевича (мол, пишет на темы, не отвечающие современным реалиям), письма разных лиц к Паустовским, журналы с прижизненными публикациями писателя...

Вскоре о покупке узнал и я. "Здесь много любопытного, – услышал от Игоря в телефонной трубке. – Кстати, есть и четыре письма Нины Николаевны Грин к Паустовским", – и принялся их мне читать...

Спустя несколько дней я купил практически все содержимое коробки. Игорь оставил себе лишь письма вдовы Грина. И то – на время. Чтобы вскоре подарить их гринов-

скому музею в Феодосии. К слову, фрагменты из них только что опубликованы в книге Н.Н. Грин "Воспоминания об Александре Грине". Вышел том в Издательском доме "Коктебель". Стечением обстоятельств автор этих строк стал издателем и редактором книги.

Ничего случайного в этом мире не происходит. Еще раз утвердился в этой простой аксиоме, когда услышал историю обретения уникальных бумаг.

Они должны были сохраниться. Несмотря ни на что. Вопреки времени и условиям. Чтобы их прочли потомки. Чтобы помнили!

Публикация, комментарии
Дмитрия ЛОСЕВА

